
Татьяна Калецкая

Рассказы

Татьяна Калецкая (1937—2019) родилась в Ленинграде в тот период, когда он уже и еще не был Санкт-Петербургом, в семье филолога Павла Исааковича Калецкого. Так случилось, что я тоже родилась в этом городе в том же достоянном году и тоже в семье филолога. Больше того, наши с Таней отцы вместе учились в аспирантуре и были дружны. Это обстоятельство свело нас с Таней в раннем возрасте, сделало друзьями, и я была свидетельницей всех этапов жизни этой необыкновенно талантливой и вообще необыкновенной женщины.

Мы вместе с Таней поступили на филфак Педагогического института им.А.И.Герцена, где Таня поражала однокурсников своей начитанностью, а преподавателя фольклора потрясла на экзамене огромным количеством частушек, каких он раньше не слышал. Это было неудивительно, поскольку Таня сочинила их после того, как вытатила билет с вопросом о частушках. «Где вы их записали?» — восторженно глядя на нее, спросил преподаватель. «В Архангельской области», — не моргнув ясными голубыми глазами, ответила она и вышла в коридор, победоносно потрясая зачеткой с законной «пятеркой». К этому времени она уже давно сочиняла стихи.

На втором курсе Таня вышла замуж за начинающего журналиста Владлена Травинского и перешла на заочное отделение: надо было зарабатывать на жизнь. Она сменила немало работ: была литературным секретарем у известного филолога Бориса Томашевского, корректором в «Советском писателе» и даже кондуктором автобуса. В это время дом Калецкой и Травинского стал центром притяжения ленинградского андеграунда того времени. Возможно, мои слова показались бы странными тем, кто бывал тогда в этом доме, но Татьяна Калецкая в конце 50-х — начале 60-х годов была хозяйкой одного из литературных салонов Ленинграда. С выражением «литературный салон» обычно ассоциируется обставленная старинной мебелью гостиная, где в хрустальных бокалах подаются изысканные вина. В Танином «салоне», что находился в доме на узкой и темной Пионерской улице на задворках Петроградской стороны, в маленькой комнате запущенной коммуналки, подавалась водка с самой дешевой закуской и чай в эмалированных кружках и граненых стаканах. Зато там собирался цвет ленинградской богемы. Я хорошо помню, как там читал свои ранние стихи Иосиф Бродский. О нем у Тани был прелестный рассказ, который, увы, не нашелся в ее рукописях. Не помню, назван ли его герой настоящим именем, но знаю, что речь идет о Бродском. Всю ночь молодой поэт проводит с друзьями, они веселятся, выпивают, и под утро он вспоминает, что на холодной лестничной клетке стоит «топтун» — тот, кто обязан за ним следить. Ему вдруг становится жалко этого парня, который там мерзнет, и он выходит к нему с недопитой бутылкой водки и выпивает с ним. С Бродским Таня оставалась в дружеских отношениях до конца его дней, встречалась во время поездок в Америку. В дружеских отношениях до конца своих дней она оставалась и с Михаилом Шемякиным. Его самую первую выставку организовал в 1962 году в журнале «Звезда» Травинский, когда стал ответственным секретарем этого журнала.

Приезжая в Москву, Шемякин встречался с Таней и ее вторым мужем Александром Гельманом. Она всегда бывала на его московских выставках и только на последнюю, которая проходила нынешней зимой, не смогла пойти, о чем очень горевала.

В начале шестидесятых Таня начала писать прозу. В ее архиве сохранились неопубликованные повесть и рассказы. После развода с Травинским Татьяна Калецкая уехала в Тюмень и занялась журналистикой. Ездил в экспедиции, писала очерки и репортажи, они печатались в местной прессе. По возвращении в Ленинград продолжила журналистскую деятельность, сотрудничала с ленинградскими газетами и журналами, ездила в командировки. В одной из командировок она встретила с Александром Гельманом, о котором должна была написать материал. Результатом этого журналистского задания стал прочный и счастливый брак, а также замечательное творческое содружество двух талантливых людей. Вместе они написали свой первый сценарий «Ночная смена». Фильм по нему был снят в 1970 году и имел большой успех. Его и сейчас иногда показывают по телевизору, как и вторую снятую по их общему сценарию ленту «Ксения, любимая жена Фёдора». С этого времени начался новый этап жизни Татьяны Калецкой. Она поступила на Высшие сценарные курсы и стала самостоятельно работать как сценарист. В восьмидесятые годы вышло несколько фильмов по ее сценариям: «Плывут моржи», «Время для размышлений», «Подружка моя». В них заняты замечательные артисты: Юрий Богатырёв, Вера Алентова, Владимир Меньшов, Евгения Ханаева, Люсьена Овчинникова, Дмитрий Харатьян, Ирина Розанова. Киноленты, снятые по сценариям Татьяны Калецкой, пользовались зрительским успехом. В это же время фильмы по сценариям Александра Гельмана и спектакли по его пьесам становились культурными событиями. Творческое сотрудничество Александра Гельмана и Татьяны Калецкой продолжалось до последних дней Таниной жизни.

Эти рассказы были написаны в начале шестидесятых годов прошлого века, но, как мне представляется, ничуть не устарели, потому что ситуации, описанные в них, постоянно повторяются, а человеческие переживания остаются неизменными.

Елена МОВЧАН

Случай с машинисткой

Я все писала, писала стихи, а потом подумала: снесу-ка я их в редакцию.

Взяла и отнесла.

И такой удивительный случай — они вдруг понравились главному редактору.

Это мне секретарша сказала. Она сама была удивлена до крайности. Ей-то самой они не понравились, она мне сразу сказала, что ей не нравятся и что, значит, дело почти безнадежное.

А потом вышел просто редактор, не главный, позвал меня в кабинет и стал хвалить. Что вот какая я молодая, а пишу не по возрасту. И что их журнал как раз сейчас выискивает таких, как я, молодых, которые хоть и молодые, но в общем соответствуют чему-то там. Что у меня есть, конечно, недостатки, но мы с ним при совместной работе их ликвидируем. И что очень хорошо, что для меня не существует слова “мелкотемье”. Что я хорошо знаю и люблю простых людей, их мысли и чувства и всякие там события из их жизни, и все это мне дорого. Что у меня меткий глаз и чуткое ухо. Или наоборот — ухо меткое, а глаз чуткий, я точно не запомнила, я в то время очень волновалась.

Потом он сказал, что все это, конечно, очень хорошо, но в таком виде рукописи обычно не читают — в рукописи. А надо перепечатать на машинке. Когда рукопись

перепечатана на машинке, редактору легче выискивать недостатки. И даже удивительно, что главный в таком виде взял читать мои стихотворения.

Короче, надо срочно перепечатать. Лучше всего — к завтрашнему утру. Надо ковать железо, пока горячо. Железо — это, видимо, главный.

И спросил, есть ли у меня машинистка. А откуда она у меня?

Позвали тогда секретаршу, и она сказала, что у нее есть такая машинистка, которая может быстро перепечатать. Пусть я оставлю секретарше свои тетрадки, а она созвонится и передаст их той машинистке. А утром пусть я приду и принесу деньги, машинистка тоже утром придет, и мы с ней рассчитаемся.

Я очень робко спросила: а сколько?

Секретарша с презрением на меня взглянула и сказала, что эта машинистка дешевая и берет за лист гривенник. У меня там было примерно сорок страниц. Значит, надо четыре рубля. Ясно?

Я сказала, что, конечно, ясно, и сказала ей спасибо.

Утром я пришла очень рано, еще никого не было в редакции, даже секретарши. Только уборщица.

Я в приемную не решилась войти, а там возле дверей снаружи такой один стульчик стоял почему-то, вот я и села на этот стульчик.

Сажу и жду.

И думаю: вот придет сейчас моя машинистка.

А ведь для меня, если разобраться, эта машинистка не просто машинистка. Это ведь первый мой читатель. А кто в редакции читал мои стихи, я тех не считаю, они ведь прежде всего редакционные работники.

Какая же она, интересно, эта машинистка, моя первая читательница?

Она, наверное, женщина лет около сорока или немного больше. Она среднего роста и скромно одетая. Скорее всего на ней будет серая плотная юбка и кофточка серая трикотажная, вся после стирки вытянувшаяся. А под кофточкой блузочка белая или в горошек и воротничок бантиком. Сейчас воротнички бантиком не носят, это просто у нее очень старая блузка. И волосы у нее темные, жиденькие и поэтому завиты мелким перманентом. А лицо простое, очень усталое.

Мы с ней вежливо здороваемся, она протянет мне аккуратный сверток и скажет:

— Вот, возьмите, пожалуйста. Уж простите, я запоздала, — всю ночь печатала, боялась — не успею.

Я отогну обертку, посмотрю — там не сорок, а тридцать восемь страниц.

Вот я ей протяну четыре рубля. Но она покраснеет и скажет, что вы, что вы, не надо. И начнет рыться в своем потертом кошельке — искать мне сдачу.

И мне станет неловко не взять от нее эту сдачу.

А разговаривать мы будем, конечно, уже в приемной. Будем сидеть на большом кожаном диване возле круглого стола, посреди зала. Этот стол и диван этот специально для авторов, вроде меня. И все, кто будут проходить мимо, ну там всякие другие авторы или там редакционные работники, все они будут со мной здороваться. Ведь всем уже станет известно, что мои стихи настолько понравились самому главному редактору, что он их взял читать даже в рукописи!

И вот я возьму от машинистки свои стихи и начну их разбирать, считывать или как там полагается после машинисток.

А машинистка не уйдет. Она встанет с дивана, потом снова сядет и вдруг опять покраснеет и скажет:

— Вы меня извините, девушка, но мне бы хотелось с вами поговорить. Можно?

Я так ласково ей скажу: ну, конечно, можно. Я вас слушаю.

Потому что я хорошо знаю и люблю простых людей, их мысли и чувства и всякие там события из их жизни, и все это мне дорого. И еще для меня не существует слова «мелкотемье».

А машинистка мне скажет:

— Вы знаете, вот я всю ночь печатала ваши стихи, и так они мне понравились, так понравились, вы просто не представляете. Я их печатаю, а сама плачу. И знаю, что нельзя мне во время работы плакать, могу опечаток наделать, а все плачу и плачу все... Спасибо вам большое!

Я ужасно смущусь и скажу:

— Ой, что вы! Это вам спасибо. Я так рада, что мои стихи вам понравились.

И пожму ей руку. Нет, руку я ей не пожму, это как-то не по-женски, а ведь стихи у меня, редактор сказал, очень женские. Я ее поглажу по плечу.

А машинистка еще больше растрогается и скажет:

— Вот вы знаете, ведь жизнь у меня очень-очень нелегкая была. Мне бы так хотелось вам про себя рассказать, про свою жизнь. Я одна живу, никого у меня на свете нет, и поделиться не с кем. Все в себе коплю. А вот прочитала ваши стихи и почувствовала, что вам все как есть рассказала бы, вы бы все поняли. И лицо у вас, смотрю, хорошее, человеческое очень, вроде как ваши стихи.

Я еще больше смущусь, я ей скажу:

— Ой, что вы... Зачем вы... Спасибо вам... Ну конечно, я с вами с удовольствием поговорю. Да вот и сейчас можно поговорить, чего ж откладывать. Вы не вставайте, сидите, сидите. Мне так будет интересно вас послушать!

И машинистка сядет, и вдруг у нее слезы из глаз потекут, она вынет из-за рукава кофточки своей платочек и начнет глаза вытирать. А я буду чувствовать себя очень неловко и буду пока молчать.

И вдруг мимо пройдет с какими-нибудь бумагами та секретарша. Она так удивленно посмотрит на нас с этой машинисткой. Но ничего не скажет.

А я вдруг подумаю: это она решила, что я недовольна машинисткой, поругалась с ней, оттого она и плачет. А ведь машинистка по ее рекомендации. Я вскочу, догоню ту секретаршу и скажу ей: я хочу вас поблагодарить, очень хорошая, грамотная машинистка. И принесла вовремя, и мы с ней уже рассчитались. А это она плачет от волнения, она немножко такая странная, плачет чего-то.

И секретарша понимающе улыбнется и пойдет дальше.

А я вернусь к машинистке. Она уже перестанет плакать, и глаза утрет, и скажет:

— Вы меня извините, просто я много горя в жизни перенесла, вспомнила и разволновалась. Ну, чего уж там, решила, так надо рассказывать. Значит, родилась я в городе...

И вдруг я ей скажу:

— Пожалуйста, извините, подождите минуточку! Я сейчас!

Потому что вдруг увижу, как в зал входит сам главный редактор. И он смотрит на меня таким зовущим взглядом, чтобы я подошла.

Я подойду.

Он пожмет мне руку. И скажет:

— У вас замечательные стихи. Вы для нас просто открытие. Такие у вас женские стихи, и столько в них любви к простым людям, столько знания жизни и тонких наблюдений, столько понимания и бережного отношения к людям! Мы будем, мы будем вас печатать. И вы пишите, пишите и все несите к нам. Мы первые вас открыли, и вы прежде всего должны нести свои произведения нам.

И он еще раз мне руку пожмет и выйдет.

Потому что он специально в зал заходил, чтобы со мной познакомиться. А так вообще-то он очень занятый.

Он выйдет, а я вдруг посмотрю и увижу, что вокруг меня толпа. Разные там авторы и вообще редакционные работники. И секретарша среди них, и мой тот редактор, который не главный.

Все будут меня поздравлять. Говорить, что я талантливая, что я свежее молодое

дарование, что я новая поросль. Что мне теперь открыты все дороги. Что пусть я подам заявление в Союз писателей, и мне обязательно дадут путевку в дом творчества, за треть стоимости.

Я, конечно, буду всем скромно улыбаться и молчать. В таких случаях молчать, наверное, лучше всего. А то скажешь что-нибудь не так и всех разочаруешь.

А потом я украдкой кину взгляд на диван. Но машинистки уже не будет, ушла машинистка.

Пока я разговаривала с главным, пока все меня поздравляли, она ушла. И про свою жизнь мне не рассказала.

И вдруг мне станет грустно-грустно. Как же я так? Как же я ее в такой момент оставила? Мне даже станет немножко стыдно оттого, что она ушла.

Ну ничего, ничего, я придумаю. Я у секретарши попрошу ее телефон, этой машинистки. Я с ней созвонюсь, и все обойдется. Я к ней приду, и она пусть расскажет мне всю свою жизнь, и я ее всегда буду просить печатать мои новые стихи...

Вот так я сидела на стульчике у дверей и все это представляла. А машинистка все не шла.

Разные люди проходили мимо. Может, авторы, может, редакционные работники. И диван возле круглого стола посреди зала был уже занят, все там сидели, и курили, и громко разговаривали.

Я всем кивала, кто мимо проходил, а со мной почему-то не здоровались. И секретарша, и тот просто редактор проходили мимо и тоже не здоровались. Может, не узнали, что ли?

Я сижу себе, жду. А машинистки нет. Час жду, два. Просто странно, почему ее нет. Заболела, что ли?

Вот еще подожду полчаса и подойду к секретарше, спрошу, в чем дело.

От скуки я стала людей разглядывать. Хотя ничего интересного. В основном мужчины.

И вдруг поднимается по лестнице девица. Ну, девица — сила! Примерно моих лет, может, немножко старше. А скорее всего и не старше, просто очень накрашенная, и это ее немного старит. Великолепная девица! Прическа — как будто только что из модной парикмахерской, да еще сверху лаком покрыта. Одета в ярко-красную широкую вельветовую юбку с большими карманами и в белый нейлоновый свитерок с двумя красными пуговками у выреза. Прелесть просто. А туфельки, конечно, на гвоздиках, и носы, как полагается, вытянутые, но на конце обрубленные.

И в руках квадратная белая сумка с блестящим замочком.

Она очень независимо и слегка покачиваясь вошла в приемную. И я вижу, все мужчины перестали разговаривать и стали смотреть на нее.

Она куда-то там в глубину вошла. Потом вдруг снова показалась в дверях. Смотрит недоумевающим взглядом вокруг, и губы недовольно надуты. И сумкой размахивает.

И тут она увидела меня на моем стульчике. Осмотрела меня с ног до головы. Потом спросила:

— Скажите, случайно не вам я должна отдать работу, стихи?

Я сказала:

— Наверное, мне. Это я.

Она, сразу видно, очень обрадовалась. Говорит:

— Значит, это вы. Ну, приветик.

Я машинально отвечаю:

— Салют.

Она говорит:

— Хорошо, что вы еще не ушли. Я в универмаг по дороге заскочила, там такие

платица немецкие сегодня выкинули, восторг, а не платица. Между прочим, вам бы очень пошли. Как раз на худеньких, вроде вас.

Я ее спросила строго:

— Вы принесли работу?

— А как же, — она отвечает, — все в полном ажуре. Я как раз последнее время очень заинтересована в деньгах, иначе бы и не стала на вечер брать работу, с какой стати иначе перерабатывать. А сейчас вот приходится подхалтуривать, такова наша жизнь.

Я взяла сверток и смотреть не стала, спрашиваю:

— Значит, сколько я вам обязана?

Она покачалась немного на своих каблучках и говорит:

— Стихи печатать — это ужасно. Строчки короткие, а внимания больше, чем при перепечатке накладных. Я стихи вообще-то не люблю, а тут приходится преодолевать настроение. И вообще это была ужасная работа — такая срочность, такая гонка. Я всю ночь не спала, печатала. Сорок листов за ночь — это же страшное напряжение. Мне муж сказал: еще одна такая ночь и беру развод. Я просто измучилась вся.

Я опять спрашиваю:

— Ну, сколько я вам должна?

— Знаете, — она говорит, — вообще-то я беру по гривеннику за лист. Но за такую срочность, за такую переработку я должна с вас взять по двадцать копеек. Такая ужасная ночь. Я просто не могу иначе, чем по двадцать. Я ведь чуть не заболела после этой ночи.

Я и спорить не стала. Достала свой кошелек и стала в нем рыться, чтобы набрать ей восемь рублей. И мне так неудобно: она ведь видит, что я не ожидала, что так много денег придется платить, а кошелек у меня потертый, и я считаю, все боюсь, что может не хватить. А она спокойно стоит, ждет, пока я подсчитаю.

Мимо проходили какие-то молодые люди, кивнули ей. А я все копаюсь в своем кошельке.

Последний рубль я ей медью наскребла. Положила ей в ладонь.

Она щелкнула замочком своей белой сумочки, ссыпала деньги прямо на дно.

Говорит:

— Ну, все в порядке. Я тогда пошла. Привет!

Да, еще на прощанье я ей спасибо сказала, этой машинистке.

Потом я отнесла свои дорогие листы секретарше. Она взяла, записала что-то куда-то и говорит:

— Теперь можете прийти только через две недели. Раньше члены редколлегии не прочтут.

Я говорю:

— Но как же так... Ведь главный редактор уже читал, ему понравилось.

Она очень мило улыбается и отвечает:

— Знаете, девушка, между нами говоря, наш главный — очень увлекающийся человек. Сегодня ему нравится, а завтра уже нет. Вот прочтут ваши стихи все редактора, обсудят, выскажут свое мнение главному. И тогда решат, стоит ли печатать. Всего вам хорошего.

На улице я зашла в одну парадную, вытащила снова кошелек, смотрю — а там осталось только-только на трамвай. Опять придется у соседей занимать.

Вчера я договорилась с одним моим приятелем, что после редакции пойду к нему, поделюсь. Он очень за меня всегда переживает.

А тут чувствую — неохота мне делиться.

Пойти, что ли, в этот универмаг, что там за платья такие? Денег, правда, нет, так хоть погляжу. Может, мне еще и не понравятся...

За литературу (сатирическое)

Когда меня взяли в наш журнал на работу, все меня очень поздравляли. Конечно, это не шутка — работать в толстом журнале. Да еще во всесоюзном. Хоть у него тираж и самый маленький, а зато все равно всесоюзный тираж!

А для женщины, девушки попасть в такой журнал — тем более не шутка. Да еще сразу после института!

Меня Пашка предупредил насчет этой работы. Пашка отвел меня в Публичке в угол и сказал:

— Ты не думай, все не так просто. Самое главное — правильно сориентироваться. Твой главный — дико правый. А твой завотделом Эдька Носов — дико левый, я с ним всю аспирантуру в одном и том же общежитии водку пил, знаю... Так что все учитывай, каждый свой шаг.

Как только я пришла в наш журнал, меня вызвал главный. Он так сказал:

— Поздравляю, идите к Эдику, постарайтесь сработать. Если встретятся какие-нибудь трудности — обращайтесь непосредственно ко мне, всегда поддержу.

Я пошла к Эдику. Там у него в комнате сидела еще вторая редакторша отдела, Стелла Михайловна. И парень какой-то, мы познакомились — он, оказывается, тоже из нашего журнала, из публицистики парень.

Ну, они сначала меня расспросили — откуда я, что уже напечатала. Я им все сказала, даже вспомнила, как в «Пионерской правде» мою заметку однажды напечатали, это когда я еще в школе училась. Стелла Михайловна вздохнула так и сказала:

— Как я вам всем завидую. А я так давно ничего не пишу. Все кому-нибудь помогаю. Борюсь с правыми. Это так утомляет. Даже «Иностранную литературу» перестала читать... Ужас что такое.

Эдик, дико левый, вдруг подскочил ко мне и взволнованно спросил:

— Да, чуть не забыл, ты же от шефа. Что он тебе сказал?

— Ну, что он мне такого особенного сказал? Ничего вроде бы. Такое обычное, как и полагается в таких случаях.

Но Стелла Михайловна мне заговорщицки подмигнула и сказала:

— Вы его не стесняйтесь, этого другого товарища. Он хоть и из публицистики, но вполне свой. Мы ему во всем доверяемся. Он наш.

И Эдик тоже говорит:

— Не бойся, мы никому не скажем. Передай дословно, что тебе шеф сказал.

— Ну, что он такого сказал? Ага: поздравляю, говорит, теперь идите к Эдику, постарайтесь сработать, говорит... Все как будто.

Эдик так и подпрыгнул.

— Видите, — кричит, — Стелла Михайловна, а вы мне не верили! А вы еще сомневались! В глаза — так всегда Эдуард Николаевич. А тут — просто Эдик. Да еще при молодом сотруднике. А что все это значит? А это значит — меня здесь не уважают! Не считают. Это значит — нашу статью собираются зарубить. Это значит — шеф уже без нас провел предварительное совещание с замом. И все без нас решили. Как обычно.

Стелла Михайловна тогда нервно прошлась взад и вперед по комнате, потом подошла к Эдику, поцеловала его в затылок и сказала:

— Да, Эдик. Да, вы правы. Вы, как всегда, оказались пронизательнее всех нас.

Но им это так не пройдет. Надо сплотиться. Надо бороться. Надо пострадать за литературу.

А парень из публицистики буркнул:

— В чем дело. Пострадаем. Не впервые.

Эдик пожал им руки и вдруг опять подскочил.

— Слушайте, — говорит, — а самое-то главное? Как он ей сказал? Постарайтесь, сказал, сработаться? Это же прямой намек! Это же чистое оскорбление! Он что этим хотел сказать? Что у нас в отделе нездоровая атмосфера? Какая гнусность! Какой позор — таким путем выживать из журнала своих идейных противников! Нездоровая обстановка, моральное разложение, а потом — салют, до свиданья по собственному желанию! Не выйдет! Не то время! Прошли времена культа!

Тут Стелла Михайловна снова восторженно поцеловала Эдика в затылок, а потом густо покраснела и прошептала:

— Вы знаете, мне только что пришло в голову... Но пусть это останется между нами... Мне кажется, что, говоря так, главный намекал на наши с вами отношения, Эдик... Ну, будто вы и я... Ах, вы меня понимаете... Будто мы с вами... Такая мерзкая клевета!

Парень из публицистики вставил:

— Я знаю, кто это распустил — Евсей Петрович. У нас вся проза такая — ни правая, ни левая, только сплетничает.

Эдик тогда у меня спросил:

— А когда шеф с тобой прощался, он не подмигнул так вот левым глазом?

Я подумала, постаралась вспомнить. Подмигнул, говорю. Только не левым глазом. Правым.

Все опять заволновались.

— Нет, — Эдик спрашивает, — пожалуйста, вспомни точно, это очень важно!

Мне даже приятно стало. Первый день на работе — и такое ко мне внимание. Все так слушают здорово, Стелла Михайловна даже авторучку в рот засунула от напряжения. Я уж решила — надо действительно быть максимально точной.

— Пойдите, — говорю, — сейчас соображу. Я, значит, стояла тогда спиной к двери, окно было справа. Так?

Парень из публицистики восхищенно подтвердил:

— Верно!

— А главный, — продолжаю, — стоял ко мне лицом. И я совершенно отчетливо помню, что подмигнул он мне глазом, который был ближе к окну. Значит, окно было от меня справа, шеф стоял ко мне лицом, мне казалось, что глаз этот справа, но для него этот глаз ведь не правый, а левый? Так ведь? Выходит, я ошиблась, он подмигнул левым глазом!

Эдик даже засмеялся от радости:

— Вот-вот, а я что вам твержу уже который месяц! Ему мало, что всю редколлегию на нас натравливает. Стоит только новому человеку попасть в журнал — он его сразу же ориентирует против нас! Что мы, мол, левые, а левых он раздавит! Только так я расцениваю это гнусное подмигивание!

И парень из публицистики подтвердил:

— Только так!

Но Стелла Михайловна покачала головой и проговорила:

— Товарищи, товарищи, не надо их недооценивать. В том, что она нам рассказала, заложен глубокий скрытый смысл. Он подмигнул левым глазом, но ведь он не мог не знать, что ей он покажется правым! Вдумайтесь — и вы наконец уясните, в какой тяжелой обстановке постоянной травли и обструкции мы вынуждены работать! Нет слов, друзья, от такой низости. Как хотите, Эдик, а на следующей редколлегии я встану и все-все им скажу... Пусть предлагают потом уйти из журнала, но я больше не могу! Советская литература не должна страдать от косности и пережитков наших руководителей.

Парень из публицистики пробурчал:

— В чем дело. Поддержим. Поборемся. Покажем.

И пошел к себе в публицистику.

А Эдик посмотрел на часы и сказал:

— Пора и обедать.

И мы пошли обедать в Дом писателей. Так все было интересно, так интересно. Я даже не ожидала такого счастья: думала, просто удачная работа, а тут еще и борьба. Другие, я знаю, еще и сами бы деньги платили, лишь бы допустили побороться, а у меня вообще красота: каждые две недели получка грандиозная, в два счета можно комнату обставить, да еще и борешься каждый день! Пока мы обедали, я вспоминала, как именно шеф стоял во время нашей беседы, и даже вспомнила, что авторучка у него коричневого цвета.

Стелла Михайловна мне в ухо шепнула:

— Это мы знаем!

После обеда снова пришел тот парень из публицистики, и мы уже боролись и против Евсея Петровича из прозы. Он, оказывается, в тот день не поздоровался с тем парнем из публицистики. Вернее, поздоровался, но не за руку, а только головой махнул. Эдик сразу понял, что это он переметнулся. Но Стелла Михайловна, видно, тому Евсею Петровичу сочувствовала в душе, она сказала, что он еще не совсем правый, что его надо понять — он личность думающая и трагическая, он типичное порождение...

День первый этот прошел просто незаметно. Он так много мне дал. Во-первых, я поняла, что всю жизнь буду левая, это так увлекательно. Во-вторых, что впредь надо быть внимательнее к действительности — глупо же было так долго вспоминать, каким глазом подмигивал главный. И еще, еще мне показалось — уж не влюбляюсь ли я в Эдика Носова, своего заведомо? И как же мы тогда будем со Стеллой Михайловной, я ж вижу, что и она тоже. Хоть мы все и левые, а не помешает ли ревность нашей борьбе?

От всех этих переживаний я до двух часов ночи не могла уснуть. И вдруг вся похолодела. Что же я наделала! Я обманула своих! Предала! Не рассказала! Не рассказала, что шеф на прощанье добавил: «Если встретятся какие-нибудь трудности, обращайтесь непосредственно ко мне, всегда поддержу!»

Боже мой, боже мой, какой ужас! Какой глубокий, но скрытый смысл заложен в этой фразе! «Если!» «Встретятся!!» «Какие-нибудь!!!» «Трудности!!!!...» И дальше, дальше — «обращайтесь непосредственно ко мне, всегда поддержу!» «Непосредственно ко мне... всегда поддержу!!!» Господи, ведь это значит...

Я больше не могла томиться в одиночестве. Я понимала, что должна немедленно сообщить друзьям о своем открытии. Ждать до завтра нельзя, невозможно, промедление грозило гибелью. Я чувствовала себя ответственной не только за наш отдел, передо мной встал могучий и величественный образ всей нашей многонациональной литературы, он толкал меня, он велел мне — иди!

Я вскочила с постели и быстро оделась. За окном лил проливной дождь, на улице была непроглядная темень. Ну и пусть!

Телефон-автомат стоял на углу. В будке кто-то разбил стекло, дождь хлестал по моим плечам, я вся дрожала от холода и от страха.

Но я все равно набрала номер Эдика Носова и упрямо ждала, не обращая внимания на бесконечные длинные гудки. Я ведь знала, что он все равно проснется.

Я так была счастлива. Я боролась. Я страдала. За литературу.

Публикация Александра ГЕЛЬМАНА